ИДЕИ И ЛЮДИ

Независимая газ. — 1993. — 7 апр. — с.5.

Ярослав Могутин

Эссе

«ДРУГОЙ» ХАРИТОНОВ

и его «непечатное» творчество

ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ вручения первой премии Букера за лучший русский роман в декабре прошлого года у меня брала интервью английская корреспондентка, желавшая услышать мнение молодого и наглого непартийного (имея в виду принадлежность к какому бы то ни было «лагерю») критика. Тогда я сказал, что произошло худшее из того, что могло произойти, и выбран худший. («Мой Бог! — схватился за голову знакомый англичанин, добросовестно прочитавший по-русски (!) произведения всех шести финалистов. — Это катастрофа! Теперь весь Запад будет думать, что заунывная писанина Марка Харитонова — лучшее, что есть в современной русской литературе!»)

Дело, однако, было не в том, что Марк Харитонов, по моему глубокому убеждению, действительно был самым посредственным из кандидатов в обладатели 10 тысяч фунтов стерлингов. Английская корреспондентка была удивлена, услышав от меня, что «в русской литературе не может быть двух Харитоновых, точно так же, как и двух Ерофеевых». — «То есть?» — «Тот, **настоящий,** Харитонов — Евгений...»

Какая страшная гримаса судьбы, какая несправедливость!

Не опубликовавший при жизни ни строчки из написанного им, Евгений Владимирович Харитонов умер в 1981 г. Ему было сорок.

Его театральная деятельность стала большим и ярким событием в культурной жизни Москвы тех лет, а опыт в жанре пантомимы и эстрадной режиссуры можно было бы считать уникальным для нашей страны, но все вышеперечисленные достижения для Харитонова были второстепенны. «Какая разница, кто мы в дипломах, — писал он в автобиографической анкете. — Мы пишем, и в этом наша жизнь...»

Трудно в двух словах объяснить причины отсутствия имени Харитонова в числе новоканонизированных классиков. Бессмысленно загибать пальцы: здесь — целый букет обстоятельств, любое из которых можно было бы счесть «роковым», когда речь заходила о серьезных публикациях его наследия. Посему попытаюсь обозначить лишь некоторые из них.

«Будем писать как Габриэль Д'Аннунцио, Ницше и Иоанн (особенно в Откровении). О! От имени пророка, миру и про мир. Даже как Брюсов. Об евреях. О любви. О Возрождении. О поганом деле (без поганых слов)...». — В одной из последних своих вещей, «В холодном высшем смысле», Харитонов дошел до тезисно-протокольной формы. Тезисы обозначены, пристрастия понятны. Кумир русских декадентов (Михаила Кузмина и его окружения), «империалист» и «певец фашизма» Габриэль Д'Аннунцио был, безусловно, близок Харитонову как тип писателя.

Харитонов — имперский писатель. Не в смысле — живший во время существования Империи. Он был писатель, творивший за величественным фасадом Империи, в ее тени ловивший отблески ее славы, отражения грандиозных побед и свершений. Он был писатель среди людей, культуры и государства. Харитонов крепко-накрепко привязан временем к эпохе 60-х — 70-х, эпохе навсегда потерянного советского «рая», эпохе «застоя», которая, вопреки названию, стала началом возрождения русской культуры. Он мог появиться и существовать только тогда, в той стране, в той Москве. И только тогда он мог стать тем явлением, которым стал, находясь в достаточно удобном, конформистски-комфортабельном положении «подпольного жителя». Тоскливо-гнетущая атмосфера официоза и полуобвалившаяся уже к тому времени соцреалистическая романтика стали питательной средой возникновения и развития перевернутой (анти)эстетики его произведений, по праву могущей именоваться андеграундной («подпольной»). Увы, но только тогда Харитонов мог восприниматься адекватно и целиком именно как явление, а не только как писатель, режиссер, человек.

Как человек Харитонов умер в тот исторический момент, когда существование его стало заметным (замеченным), когда ему стала грозить почти слава, почти знаменитость, потеря статуса «подпольного жителя», «непечатного писателя», когда андеграунд переставал уже быть подпольным, превращаясь в объект политиканства и предмет выгодной коммерции. Как писатель он только сейчас начинает свое полноценное, достойное его бытование в литературе.

О том, как умер Харитонов, мне неоднократно довелось слышать от людей «его окружения», «собратьев по перу», коллег по «литературному подполью», с недавних пор именующихся «душеприказчиками Харитонова» (не могу утверждать, что это — самоназвание, но в любом случае определение странное). Одно из таких свидетельств привел в своей статье «Евгений Харитонов — подпольный житель Москвы» Василий Аксенов: «...29 июня умер Женя Харитонов. Смерть его потрясла всех: ему стало плохо на Пушкинской, скорчившись, он сидел на ступеньках магазина «Чертежник» около получаса, прохожие вызвали «скорую»... Вскрытие показало — сердце, у него было несколько микроинфарктов, которые он не замечал, так как «никогда не болел»...»

Усомниться в распространенной «официальной» версии смерти меня заставили свидетельства двух близких знакомых Харитонова из нелитературного круга. Они были первыми, кто узнал о трагедии. Водитель «скорой» в тот же день рассказал им, что он приехал вовсе не за трупом — Харитонов был жив и самостоятельно вошел в машину. Не проходит и версия с микроинфарктами. Харитонов никогда и никому не жаловался на сердце, он был здоровым человеком и действительно практически никогда не болел; был знаменит тем, что не пил.

Теперь можно бесконечно додумывать и достраивать обстоятельства, предшествовавшие этой «нелепой» (как будто бывают «лепые»!), «безвременной» (можно ли назвать своевременной любую другую?!) смерти, вспоминать, как он «готовился» к ней — мол, предчувствовал... Тем более что однажды Харитонов блестяще, завораживающе описал ощущения смерти. Во всяком случае у меня есть основания утверждать, что он прекрасно знал, на что идет, вернее — куда идет (Пушкинская в двух шагах от Петровки). «Когда мы узнали о смерти Жени, не было сомнений в том, что его убили», — вспоминают друзья. Ни с Лубянкой, ни с Петровкой романа у него не вышло...

Харитонов был верующим человеком, верующим очень парадоксально, очень по-русски, по-розановски как-то. («ВЕРУЮЩИЙ ГОМОСЕКСУАЛИСТ?! — наверняка ужаснется кто-то. — Разве это возможно?!» Вот так и друзья его многие ужасались; ужасались и переставали быть друзьями, «от греха подальше»: от него самого, от его образа жизни, от его литературы, даже от мыслей, воспоминаний, памяти о нем.) Были и те, кто **прощали ему его «слабости»,** объясняя их необычайным артистизмом натуры, изощренной актерской игрой, зашедшей слишком далеко («роль, которую он выбрал когда-то давно, да так потом и втянулся, что пришлось доиграть до конца»!). Лишь немногие **позволяли** ему оставаться самим собой, таким, каким он и был на самом деле, искренне, по-настоящему, всерьез, «взаправду», и таким его и воспринимали (принимали) и запомнили.

Так, хорошая его литературная знакомая с грустным пониманием рассказывала мне, что последние свои годы он страдал «от внутреннего разлома», который пытался преодолеть разными способами: четырежды собирался осуществить самоубийство («надел, говорит, петлю на шею, и так сразу хорошо стало и покойно, что постоял и передумал»); с друзьями служил Черную Мессу, нагишом, с крестами на причинных местах; или, например, в гостях у Лунгиных разгоряченно отстаивал свой образ жизни с позиций «европейского аморализма». «У него были удивительно красивые и выразительные голубые глаза. Со временем они как-то выцвели, опустели... Когда нам позвонили с сообщением о Жениной смерти, мы сразу подумали, что он наверняка сделал с собой что-то...»

Было произведено поспешное вскрытие, которое показало, что причиной смерти стал сердечный тромб. На телеграмму матери, квалифицированного, именитого хирурга, с просьбой не производить вскрытия без ее участия никто не обратил внимания.

Отпевание проходило в церкви Николы на Кузнецах, собралось несколько сот человек: литераторы, артисты, художники, хиппи, юродивые, стукачи. «У меня возникло такое чувство, что мы все — под колпаком, что весь район оцеплен. Было дико жарко, в церкви невозможно находиться, к гробу пробиться нельзя. То тут, то там какие-то типы, якобы «близко знавшие» Харитонова, рассказывали о «закономерности этой смерти», о том, что «все к этому шло», о «восьми микроинфарктах»... — другое свидетельство.

«Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер и в какой момент. И именно этот свой главный портрет человек видит только в последнюю минуту, и то не до конца. А в основном видят другие». («В холодном высшем смысле»)... Харитонову придумали красивую, «легкую» смерть. Его портрет с каждым годом приобретает все больше случайных, необязательных черт (умысел это или аберрация памяти?), размывается в оценках, расползается в чьих-то характеристиках. Первым к читателю пришел этот, чужой Харитонов. Другой, настоящий, ждет своего часа...

Я занимаюсь литературой Харитонова, а не служением культу, искусно созданному его друзьями, мнимыми и настоящими, его апологетами, тайными и явными, его учениками, талантливыми и бездарными.

После публикации моей статьи («Гуманитарный фонд» — № 50 (153), 1992), затрагивающей события, связанные с печально известным альманахом «Каталог», в составлении которого Харитонов принимал участие, мне позвонил разгневанный писатель Евгений Попов. Он был возмущен моей трактовкой этой идеологической авантюры, требовал объяснений, оправданий и извинений, возмещения морального ущерба (материальной компенсацией), грозил, увещевал и, наконец, сообщил: «Вы, Ярослав, Харитонова, видно, сильно не любите!»

К чему этот надрывный пафос, эта истерическая взвинченность? Я написал то, что хотел написать. Моя позиция существенно отличается от всего того, что было принято писать о «Метрополе» и его «дочернем предприятии» (по выражению Е. Попова) «Каталоге», о роли Харитонова в этой (повторюсь) авантюре. Я никогда не считал, что литературу нужно сводить до уровня бесконечных склок и «разборок». «Разочаровавшийся во мне» писатель Попов счел для себя оскорбительным мое предложение о цивилизованной полемике в печати, я же, со своей стороны, был бы готов забыть весь этот «нелицеприятный» разговор, если бы он не имел самого прямого отношения к публикации харитоновского наследия.

Звонок Е. Попова напомнил мне телефонный разговор с автором нескольких статей «по теории и практике гомосексуализма» Олегом Дарком, считающим себя лучшим и единственным «харитоноведом». Тогда речь шла о том, что «мы, филологи, не позволим делать из Харитонова гомосексуалиста!» Та же интонация, тот же пафос, та же взвинченность, тот же культ. Тем более, что сам Дарк писал в статье «Три лика русской эротики» («Стрелец», 1991, № 3) о том, что «герои Харитонова и Лимонова не были бы гомосексуалистами, если бы они не были сами авторы», и хотя «я не посвящен в сексуальные тайны ни Харитонова, ни Лимонова, но кажется художественно принципиальным выбор ими для персонажа модели поведения: у Харитонова — активный гомосексуалист, у Лимонова — пассивный (что для бисексуала как будто не типично, тем более обращает внимание такой универсализм)...»

Единственный вопрос, каким я неизменно задаюсь при чтении подобного рода изысков, — предмет ли это литературоведения (филологии). Я-то думаю, что автору процитированных «сексо(пато)логических» пассажей было бы сподручнее вести регулярную рубрику «В постели с...» в какой-нибудь бульварной газетке типа «Еще». «Мы хотим быть гомосексуалистами. Мы очень долго, всю жизнь были гомосексуалистами, пока читали Харитонова. Мы перестали ими быть, закрыв книгу. Нам очень жаль, что мы перестали быть ими. Но мы уже никогда не забудем, как ими побывали. Мы боимся опять открыть Харитонова...» — это из другой статьи Олега Дарка о Харитонове, «Голубой» называется. (А чего такого! Замечательное название статьи о писателе-гомосексуалисте; не зря на него даже газета «Тема» клюнула и перепечатала на своих страницах!) Вот как нужно «популярить» любимого автора!

Думается, что подобные маниакальные заклинания оказывают очень плохую услугу первым отечественным публикациям Харитонова, они могут только отпугнуть, отвратить серьезного и заинтересованного читателя...

Гомосексуализм Харитонова не был позой, не был игрой, тем более — игровым элементом, каковым он является сейчас в творчестве ехидных и кощунственных «постмодернистов», выдумавших для своего литературного словоблудия все, включая самих себя. Он-де **«перестрадал»** (выражение Вик. Ерофеева, считающего Харитонова «абортированным талантом»), «сам себя съел», а это уже — чересчур; невесело — значит, неинтересно.

Именно гомосексуальностью обусловлена мнимая элитарность Харитонова, поскольку аудитория, которая могла бы адекватно оценить уровень его произведений, избавившись от предвзятого отношения к их тематике, была ничтожно мала: фактически только круг знакомых и единицы интеллектуалов, для которых мотивы однополой любви в русской литературе (не говоря о западной!) не казались чем-то невероятным. Мне представляется абсурдной репутация революционера по части разрушения литературных табу, закрепившаяся за Харитоновым в последнее время. Он не был первым русским гомосексуалистом-литератором.

Но Харитонов был первым русским гомосексуальным писателем за последние полвека после Кузмина и Добычина (если не считать К. Вагинова, А. Платонова и немногих других, у кого эта тема присутствует косвенно). И, как справедливо заметил Д. Пригов, «он первый стал писать откровенно на гомосексуальные темы», используя при этом соответствующую, порою — очень специфическую, лексику, не существовавшую еще во времена его предшественников.

Творчество Харитонова — вовсе не «путеводитель по «прослойке» с определенно направленным половым вектором», не «энциклопедия гомосексуальной жизни», не «зеркало сексуальной революции» и — тем более! — не манифест гомосексуализма (хотя иногда — например, в «Листовке» — очень смахивает на него). Точно так же, как он сам — вовсе не «этнографический» автор, описывающий нравы, типы и обычаи людей, наличие которых в принципе не было предусмотрено сложившейся у нас системой общественных отношений, целого народа (и отнюдь не «малого»!), репрессированного за свое не запланированное никем, кроме природы и Бога, существование.

Харитонов — не «писатель для гомосексуалистов». Его гипотетическая читательская аудитория не может быть априори ограничена приблизительно-предположительными десятью процентами «русскоязычного» (имея в виду и русскоговорящих, и русскочитающих, и русскопишущих) населения. Если попытаться свести всю проблематику харитоновских произведений до уровня упрощенной аналогии, то облитературенная судьба гомосексуалиста — это судьба «униженного и оскорбленного», гоголевского «маленького человека», «человека из подполья» Достоевского, зощенковского трагикомического персонажа и еще многих-многих «лишних людей» русской литературы, в которую уже входит последний «эшелон» совсем недавно разрешенных авторов.

Харитонова, однако, нет в их числе не только по причине его ложной «революционности». Без «реакционности» (или «игры в реакционность», как пытаются представить вопрос доброхоты, во что бы то ни стало желающие «оправдать» и «обелить» невольного субъекта своего культа) тоже не обошлось. Антисемитизм Харитонова — весьма болезненный аспект, и при его жизни вызывавший недоуменное раздражение даже среди друзей и поклонников писателя. В той среде и в той культурной ситуации за подобные высказывания любой был бы подвергнут остракизму. Харитонова, человека, «воспитанного и замешанного на «русской идее» (по выражению Е.Шифрина), пытались переубедить, образумить: талант талантом, но ведь не Достоевский и не Розанов, чтобы так да о таком. Во всяком случае, тогда его за это наказать так и не смогли (ограничивались обидами) — не позволяли его литературный и социальный статус. Наказали позже, посмертно.

Апогеем «реакционности» стал последний период жизни Харитонова. Я располагаю свидетельствами его знакомых, которые связывают это с поездкой Евгения Владимировича на родину, в Новосибирск, летом 1978 года: «Когда он вернулся, было такое впечатление, что его основательно «накачали» всем этим, с ним невозможно было общаться, так он был увлечен своими новыми идеями. Через некоторое время его юдофобия приобрела гипертрофированные масштабы, он мог звонить кому-то, какой-то своей знакомой еврейке, и начинал разговор так: «Ну что, готовитесь к **нашей** Олимпиаде?!» После этого устраивал двухчасовую «промывку мозгов», доходил до полной истерии, безжалостно разрывая многолетние дружеские отношения. Он был совершенно искренне увлечен этой новой идеологией. Позднее оказалось, что называется это просто — «Память».

...«Память» вышла из «подполья» в начале 80-х, «перестройка» возвела это «общество» на пик всеобщего интереса. Истоки той, интеллектуальной, «первого созыва» «Памяти» были в «правой» диссидентской среде, многие представители которой принадлежали к числу научной интеллигенции. Имел ли Харитонов прямое отношение к этой организации, был он ее формальным или неформальным членом? Сейчас, я думаю, об этом вряд ли можно узнать, но если все антисемитские тексты Харитонова воспринимать адекватно (серьезно, — ведь это серьезные тексты!), то списать их на «игру в реакционность» никак не удастся, они выглядят **теорией** современного русского национализма.

Идеологический, рассудочный антисемитизм Харитонова («устанавливают порядок евреи...»; «напереведенное жидами...»; «мудрое сталинское решение о раскрытии псевдонимов...»; «общий жидомасонский тайный ум...»; «устройство, заведенное жидами...»; «еврейская опасность...» и т.п.) переходит в антисемитизм расовый, физиологический, животный («1 евр. для коллекции»: «первый жид, с которым я ложусь. Жиденок. Наполовину об одном яйце...»). Впрочем, вероятнее обратное: истоки любой фобии (юдофобии — в том числе) легче всего искать в сексуальной сфере (рискую прослыть вульгарным фрейдистом). Тезис О. Вейнингера о том, что для человека гомосексуальной ориентации еврейство олицетворяет женское начало в человечестве, которое не может вызывать у него (гомосексуалиста) никаких положительных эмоций (весьма спорное утверждение, на мой взгляд), в случае Харитонова многое объясняет...

Как бы там ни было, все это нужно учитывать, когда речь идет о публикациях Харитонова. Я назвал лишь несколько причин, до сего момента бывших главными преградами на пути этих публикаций даже сейчас, когда, казалось бы, «все можно». Я убежден, что выход полного собрания сочинений Евгения Владимировича Харитонова в двух томах «Слезы на цветах» (в ближайшее время в издательстве «Глагол») станет настоящей литературной сенсацией, внесет оживление в тихий омут современной российской словесности и сумятицу в джентльменский набор имен, на протяжении нескольких последних лет кочующих из одного издания в другое с удручающе однообразным репертуаром.

Харитонова слишком долго не печатали и не принимали всерьез, настолько долго, что создается впечатление, будто только он остался невостребованным, непонятым и неузнанным. Он — последний, за ним нет никого, в то время как он — первый среди новообретенных, «хозяин их умов, водитель их перьев или там — нажиматель компьютерных кнопок, тот, с кого они все начались» (Н. Садур).

Харитонов — слишком большое событие в русской литературе, чтобы забыть о нем, отмахнувшись несколькими недобросовестными публикациями в плохоньких изданиях и глупыми разгромными (гомофобными) статейками в «Русском курьере», «Литературке», «Дне» или еще где-то. Серьезное исследование его творчества — впереди, сейчас необходимо вывести наконец Харитонова из числа «непечатных писателей», долгие годы находившихся «под домашним арестом».

Евгений Харитонов

Углы

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Слезы об убитом и задушенном (фрагменты)

ИТАК. Вера спасение покаяние откровение; грех. ГРЕХА нет. Тут надо понять, что пишет чел., живущий в слове у которого цена жизни в слове — Кому все это объясняю? когда сам это и так знаю. И зачем объяснять? Разве в объяснении есть сладость? —

В чем значение жизни такого (именно) человека. Назначение своей жизни он видит в художестве (словесном). И укрепляется тем, что в самом Ев. от Иоанна вначале было Слово. И Слово было Бог. И вот его жизнь его богатство его успехи тоже в слове, а ни в чем другом. — Так что из этого (почему все что-то из чего-то) — А грех? грех не выполнить назначения (если объяснять через долг); а если через хочу, то грех не делать то чего хочу. Я хочу чтобы у меня выходили дивные художества, но отвлекаюсь на другое, а жизнь идет; а художества-то художества-то кто мои выведет трепетной рукой легкой рукой. Кто даст единственную красоту от которой отпаду где будет все. Дивные пассажи. Какие-то те самые слова в которых что-то поймано. Кто поймает и каждый раз пока живет будет ловить эти прикосновения. А — что «а»? А грех, грех? Жизненного греха за мной нет, потому что все что там в жизни это так, а на самом деле то, что в художестве. Значит, в жизни грехов кроме того что что-то мешает, отвлекает, нет. Хотя это всегда такое, что вначале ты против всего что на тебя посягает, уводит, а там, оказывается потом, тоже как раз было бы что-то живительное. СПАСЕНИЕ в том, что составляю эти стихи оно же и ОТКРОВЕНИЕ. А в чем ИСПОВЕДЬ, если нет греха. Может быть, исповедь в радости. Самая главная самая настоящая-то радость и есть, когда слезы и над бездной. И вот я, например, сложил слова и принес их всем. То есть, Богу? И вот когда эти слова вышли, я спасаюсь, а когда не выходят это не грех, они еще выйдут. Есть только все время страх греха, что не выйдет. Но в чем я исповедуюсь, открываюсь в своем, чтобы это стало общим; потому что действие-то идет в языке, а язык общее (Божье). Стать, в конце концов, общим местом. Белым цветом (чистоты).<...>

Я
не должен
влезать
ни в одну работу
а быть там только гостем. Безусловно, чтобы дело вести надо считаться с требованиями и думать о заказчике как и дело сохранить и чтобы заказчик не отказал в поддержке (государство).

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (НА РАБОТЕ). ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, НА ЧТО ВАС НА РАБОТЕ НАЗНАЧИЛИ.
(и все-таки работа место знакомств, хотя она и оплачивается государством). <...>

Меня затаскали

А как им тяжело там в камере. Ступинаторы железки две железные пластины в ботинках для поддержания формы их отнимают у заключ., чтобы не резались или не резали друг друга. Никому ничего не докажешь и никому это не интересно, что докажешь. Ни сердца ни правды ни жалости. Неужели по глазам не видно что он не лжет что никто не лжет что мы не лжем. Что я родился в деревянном домике на Щетинкина 38 и был уж во всяком случае добрым мальчиком с мягким сердцем. Конечно я прожил много лет и оно зачерствело но там на дне бабуся и детство и доброта правда доброта и абажур. И под слоями равнодушия есть и совесть и доброта и простота и сердце.

Я не хочу никому зла. Никому? А обидчикам? А обидчики хочу чтобы увидели мою невиновность и все свое зло и схватились за голову стали молить прощения и совесть бы их затрясла а я бы сказал ладно я зла не помню.

Я не могу завести животного, потому что в любой момент когда им вздумается меня могут вызвать петровка или лубянка и продержать сколько им надо пока не выяснится моя невинность, а котенок умрет без еды у дверей и у меня даже не будет слез и ярости бороться за свои права. Их нет. (В Континент не возьмут о котенке). У человека прав нет, запомните. Человек это никто. Любой может быть раздавлен и размазан по полу и его след будет немедленно смыт и выброшен в ведро и закопан. Они просто вызвали и припугнули. А имеют ли они право говорить тебе то чего нет? Они имеют право на все. Это у тебя нет прав. А есть ли где-нибудь, в какой-нибудь стране в каком-нибудь уголке справедливость и права и разумная жизнь. <...>

Ответ из «Правды». О законе. Как его понимать.

— Видите ли, вы же сами понимаете, что мы согласны закрыть глаза и закрываем на подобные действия, когда они делаются тихо, если они прикрыты всякими отвлекающими словами. Если, например, это прикрыто искусством; народу объясняется что пьеса показывает расизм за рубежом; для себя пусть белый умирающий юноша страдает по негру как и у Лим<онова> — но для людей в сопроводит. слове должно объясняться только так, что это расизм; или пусть вы там любуетесь голыми танцовщиками и все зрелище ради этого, но для народа это Древн. Греция и борьба за свободу. Пусть там Рихтер у себя в богатом доме делает что он хочет, но если он Рихтер; и для народа это он приобщает молодежь к прекрасному, тут мы, конечно, закрываем глаза. Но если открыто дать волю, и всем, и называть это как есть, тогда что же будет с мировоззрением как это все в него войдет. Ведь то до чего вы развились это же подавляют в зародыше. Нет. Мы можем снять трубку и дело замнут, но закон должен оставаться законом. Для острастки и для поддержания идеологии. И никому открыто со страниц прессы мы не позволим упоминать о такого рода жизни у нас. Ее у нас нет. У нас есть, может быть, все, но на бумаге этого, запомните, нет, иначе мы **вынуждены** привлечь вас к уголовной ответственности. <...>

Все страны видели в России самую набожную страну другой такой нет в Европе может быть Испания но среди просвещенных светских стран с развитой наукой такой не могло быть. И вот в один раз все летит и доходит наоборот до др. крайности до полного безбожия (в букве). Какой и в странах Возрождения не бывало. Значит, чем истовее и рьяней снаружи, тем резче эта рьяность к этому предмету в момент слетает; потому она и была истовая, что надо было самое себя в чем-то уверить не давая опомниться.

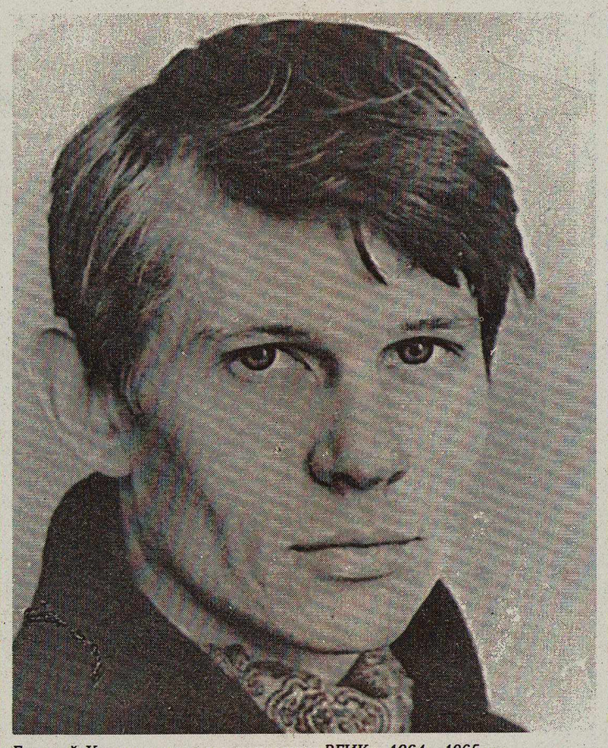
Устанавливают порядок Евреи; потом когда он изживет себя сами его расшатывают. А Русские рады любому закону тупому и порядку лишь бы шло как всегда чтобы лень была в покое. Мы ненавидим жидов. Мы друзья лени и установившегося порядка.

В газетах государство повернуто к нам одной стороной, но на самом деле оно гораздо разнообразней. Да, видны сдвиги, либерализм и то что недавно могло быть скандальным сейчас никого не удивит. Но раз уж в душе поселилась безнадежность, она никуда не уйдет, даже если на Красной площади поставят памятник Джойсу и пустят пароход «Ваня Овчинников». <...>

Родной дом где сон кустов. дорогие мамочка с папой я конечно приеду в июле и никогда не посмею нарушить этот порядок как наш сад? сколько труда вы в него вложили папа сад тебе платит тем что в нем тебе хорошо домик наверное стал совсем нарядный с новой калиткой вид правда у нее беззащитный но и милый приветливый столбы с шишаками хороши а у меня на балконе все ноготки и сорняки все до последней травинки выгорело но я из этих высохших цветков набрал семян снова посадил и они взошли прямо цветочное хозяйство как у вас в саду. <...>

помогите дереву!

с него не облетели листья. И весной
оно не может распуститься. Оборвите с него
старые листья! Сделайте то что той осенью не
сделал ветер! <...>



Евгений Харитонов после окончания ВГИКа. 1964—1965 гг. Публикуется впервые

Самый великий писатель с тех пор как земля попала в Созвездие Рыбы — Иоанн Богослов — никогда не издавался отдельно. Оба его сочинения мы знаем только по альманаху под названием Новый Завет. <...>

Могилы Родины страна Крученых и Корейши что впереди мы видеть не может, но что сзади все время оглядываемся (История) тощие святые масластые кости дремучие
чистый лист бумаги пугает
(истый глист губами пукает)
В Чулане Билась Сволочь
(В Начале Было Слово)
Кто? Такие? Черти?
у них зарядка вместо молитвы
на зарядку становись
из тюрьмы своих костей

Он
был убит государством.
Он был, несомненно, нань.
Побыв, исчез. Глубоце. Кре-кре глазки в ямках. <...>

Надо закончить с гомосэксуализмом. Это дело нехорошее. Ничего из этого не получается. Тут все не так. Ну как это можно чтобы один другого в ... и тот представлял себя какой-то женщиной. Ну который представляет себя женщиной ему-то еще ладно, а который за мущину. Уж раз ему приходится быть мущиной, так уж чего там, пусть уж просто с женщиной.

Одно было приемлемо, когда Иоанн любил Христа и посвятил ему всю жизнь. Но то был Христос. И у него было учение. А Иоанн это учение должен был сберечь и донести. И учитель не сам из гордости выдумал какое-то учение. Он нес то что велел ему Бог. А Бог один. <...>

Семейство однополых невозможно. Это дело б...ское. Тут уж раз страсть, так уж нужен такой чтобы ты любил его до потери сознания. А где такого найти такого вида. А если он есть, он всегда найдет себе другого с кем веселее и денежней. Раз на него все заглядываются и хотят заманить. А тебе и самому нечем его занять днем и вечером и хочется заняться своим узором. А кто будет тянуть лямку. А только дай ему волю, как все, он сядет на шею и начнет болеть чтобы о нем заботились.

Я его не понимал. Я хотел семейной жизни и мерил его по себе а он хотел выступать в компаниях и пленять других и совсем не хотел затворяться от мира. Он хотел чтобы новые и новые желали его пока в него еще можно влюбляться как в девочку. Мне нужна была жена, а ему поле для игры. А я хотел его замкнуть на себе. А ему урвать от жизни пока еще есть успех и молодость не прошла и избавиться от меня. <...>

Танечка, детка, прости что я такой черствый. Ты приехала из Новосибирска там есть нечего у тебя малыш тебе надо купить ему витаминов яблок а я тебе выговор сделал что ты у меня попросила денег ты в шубе короткой поддувает тебе холодно там у тебя на Инской хулиганы взорвали динамит на тебе сгорело теплое пальто я не проводил тебя не помог донести сумку Танечка прости меня я живу один зачерствел перестал понимать простые жизненные заботы людей потому что у меня их не было.

<...> я развивал любимый взгляд о евреях, почему определяется лет в 30-ть партийность и русские к этому времени должны точно не любить евреев. И юдофобию на почве культуры осмысливать так. Что при нашей культуре, где нужна дипломатия и паллиатив, евреи как правило выйдут вперед; а русский чем исхитряться, лучше вообще ничего не будет делать, так умнее, и побожьи, а тот русский, кто захочет перехитрить свою душу, все равно хитрее еврея не перехитрит. Там где нужен товар, хоть товар для душевного употребления, для еврея поле. Все подделки — кино; переводы художеств с других языков, все поле евреям. И по относительным расценкам, по рынку, их товар тоньше, хитрее. В нем больше подмешано души и международной человечности. Но где нужно государственное и партийное, они банкроты. И где нужна только душа, только безумие, только Бог без подмеси и монашеское одиночество, они самые великие банкроты. А в серединке на половинке впереди всех. И в глазах недалеких жидов и русских с замороченным умом, кто верит по глупости их консервам для бедных, жиды умный народ. А на самом деле народ в основе недалекий потому что хитрят все равно по недалекому расчету, а самая большая хитрость по самому золотому расчету, когда ее нет и расчета нет ни на что. <...>

Нет уж, по ср. с Лим<оновым>, если на то пошло, если тоже крикнуть э т о я , я человек чурающийся улицы боящийся я никогда не водился со шпаной, я с детства живу в необыкновенной порядочности, как большинство порядочных людей я всегда состоял на работе, в моей трудовой книжке нет перерыва не было до сих пор, я никогда не жил без денег, я привык жить скромно, я боюсь фамильярности потому что страшно боюсь ответить на возможную грубость, я правду людям не говорю но всегда ее думаю и ограждаюсь благородством; в котором, правда, очень тесно, даже когда-то было невыносимо тесно, но сейчас я привык и мне в нем уютно. Но только страшно потом болит голова. К собратьям по перу я прихожу застегнутым на все пуговицы, но с вопящей розой из своих стихов в петлице. Хотя все равно она слишком роза, чтобы быть бесстыжей. Я бы и не допустил чтобы она дразнила. Я не павлин. Я что-то под стеклом. Я культурное растение. Хотя и не минерал.

«Я» среди людей, культуры и государства. Роман. <...>

Так почему с пионерских лет приходилось больше водиться с еврейскими детьми (с жиденятами). Потому что кое-что было общее. Я был воспитанный мальчик и не уличный. И вынужден был вести себя осмотрительно чтобы не нарваться на драку и грубость. И если мне что-то не нравилось, я не высказывал прямо чтобы не побили. Значит, научился как бы всех понимать в их смысле, свой держа про себя. Или деликатно через науку доказательно и почти логично его объяснять. Немного с юмором. Но не с жидовским! (Хотя на самом деле не хотел понимать никого, только голов своей звезды.) И с жидами легче было сходиться на почве того что не будут с тобой прямо и грубо. Не поставят в неловкое положение когда необходимо ударить в ответ на прямоту. И смело можно не пить. Но пропасть между нами была сразу из-за их любви к науке и здравого розовощекого жидовского живучего смысла.<...>

И еще якобы общее с ж. У меня не было деревни как и у ж. и любви к полям, с которой можно попасть и понемногу процвесть в официальной культуре. (И может быть, не быть противным.) Но уже в честные переводчики, инсценировщики и в детские поганые писатели я бы не пошел никогда и даже бы не помыслил. Потому что не жид.

Впрочем, русская природа без монастыря в душе тоже жидовское учреждение. И таинственно учреждена общим жидомасонским тайным умом чтобы русских официально представить в посконном положении. Которое есть дьявольская подтасовка жидов.

Поэтому и русский урбанистический мальчик в честной молодости больше потянется к напереведенному жидами, чем к русской посконщине. Которую выпустили на сцену и дергают за ниточку в конечном счете жиды; хотя казенные русские думают это их средство говорить о русском и противостоять.

Как Ваня находчиво сказал — Ваня, говорю, ты все говоришь жиды, жиды, а ведь Господь их избрал для откровения и Христос из них вышел —а потому, говорит, и избрал, что самый испорченный народ, с них надо было начать исправлять людей. Мудрое сталинское решение о раскрытии псевдонимов. Но он сам, бедный, работал в устройстве, заведенном евреями. Он принял руль из чужих рук и это не дало ему истребить зло до конца.

Да здравствует Сталин вы слышите Сталин
он сон Византии и царь на земли
он гнул и ковал и вознес наше знамя
над миром и пали жиды.
Да здравствует Божье Царство
Морозное Государство
где лозунг и митинг внесли.

Глазунов **отличный** художник.

Он развешивает в жизни опознавательные идеологические знаки; представляющие ведущую сторону госуд. идеологии. Иначе бы ему не давали Манежа. Где он через головы властей но и с их разрешения разговаривает с народом языком четких иносказаний. Но серьезность и пафос подкупают, и что речь о судьбе страны. И к нему очередь как к Законодателю Очередей на Кр. Площади. Куда ему развиваться? Расширяться. А тут уже краски и кисти мелкотравчато. Нужен уж правда размах. Может быть рисовать домами и городами чтобы видели с самолетов. Дома составляют Лик Спасителя. Или целые области и края. И один глаз Байконур а другой Соматлор. И метить территорию дальше, пока не займет весь мир. А дальше пойти на вселенную, чтобы из глаза Спаса-Байконура вылетела ракета и выписывала в небесах слово Россия.

А уединенный художник о, там схима и вериги он тоже любит разговаривать и болтает двух слов за все время не скажет. И в этом его Божий или похожий на Божий смысл похожий на смысл жизни трудящегося на молитвенном поприще со всеми своими болезнями. <...>

В тексте сохранены орфография и пунктуация автора.